

ПРОКЛЯТИЕ РОДА НАРЦИССОВ

НЕ ВСЁ, ЧТО ОТРАЖАЕТСЯ – ТВОЁ.



ВЕЛИЧАЙШЕЕ ОДИНОЧЕСТВО –
КОГДА ТЕБЯ НЕНАВИДЯТ ТЕ,
КОГО ТЫ ОБЯЗАН БЫЛ ЛЮБИТЬ.

18+

Хельга Варг

Проклятие рода Нарциссов

<https://litres.ru/74159268>

SelfPub; 2026

Аннотация

Чудовищами не рождаются. Ими становятся дети, которым однажды запретили плакать.

«Взгляд на мир из пустоты».

Роман о том, как одна не прожитая боль проходит через поколения, превращая любовь — во власть, заботу — в контроль, а живых людей — в собственные отражения. Иногда одного запрета достаточно, чтобы сломать не одну жизнь...

Содержание

Предисловие	4
Глава 1. Идеальный Сын	9
Глава 2. Лучший друг	18
Конец ознакомительного фрагмента.	23

Хельга Варг

Проклятие рода Нарциссов

Предисловие

Сказка про Игната Стеклянноглазова

Давным-давно бабки шептали, что есть люди: живут, двигаются, но мертвые изнутри. Глаза стеклянные, пустые, как у рыбы, как у куклы. Смотришь — ни искры, ни тепла, только отражение свое видишь. А их нет.

Они не умеют любить, не умеют жалеть, они умеют только брать. Берут взгляды, берут восхищение, берут чужие жизни и пьют их, как воду из колодца, не чувствуя вкуса. А когда выпьют, и человек рядом иссыхает, удивляются искренне, по-детски: чего это он сломался.

Дальше шептали бабки такими не рождаются. Такими становятся.

То Матрёна, пра-прабабка их, род свой прокляла. А с ним — и весь род нарциссов.

А дело было так. Давно. Ещё при царе. Жила Матрёна, из рода нарциссовых. Баба как баба. Крепкая, работающая. Мужа любила — Петра. Дочерей, сыновей ему народила. Избу в порядке держала.

А потом бес попутал мужика. К соседской вдове Акулине

ушёл. К ласковой, той, что по голове погладит и не пилит. Что в глаза глядит, а не в пол.

И осталась Матрёна одна. С малыми детьми. С хозяйством. С позором на всю деревню.

Неделю выла Матрёна. В голос. По-бабьи. Криво. На задах, у сарая. А бабы мимо идут с коромыслами. Кто плюнет. Кто головой покачает.

— Ишь, бесстыжая. Мужика не удержала. Теперь воеет. Детей бы пожалела.

Подошла к ней тогда мать её старая, Аксинья. Да и сказала, губы поджав:

— Хватит выть, Матрёна. Срам. Соседи смотрят. Мужики смеются. Наш род нарциссов позоришь. Бабе плакать не пристало. Тем более — криво. Зубы стисни.

И замолчала Матрёна. Враз. Сглотнула слёзы. Сглотнула любовь. Сглотнула боль. И окаменела вся.

А ночью пошла к колодцу деревенскому. Тому, из которого вся деревня воду брала.

Глянула в воду. А там — она. С глазами красными. С лицом перекошенным. Некрасивая. Жалкая.

И плюнула Матрёна в свой образ. И сказала. Тихо. Страшно.

— Будь ты проклята, любовь.

Раз за тебя одна беда да срам — так не быть тебе в роду моём. Вовек.

Ни мне. Ни дочерям моим. Ни сынам. Ни внукам.

Пусть пашут. Пусть рожают. Пусть живут.

А любить — не моги. Плакать — не моги. Просить — не моги.

Лучше каменными быть. Зато целыми. Зато не брошенными.

Слово моё крепко. И померла Матрона годков через десять — молча, с поджатыми губами. А проклятие осталось: в колодце, в крови — и пошло по роду Нарциссовых. Так и повелось с той ночи. Дочери Матрёны — льдинки. Сыновья — стекло мутное. Все — красивые. Статные. Работящие. А в глазах — пусто. Ходят по земле, улыбаются, а в груди — колодец тот. Холодный. И плюёт в них Матрёна до сих пор.

И родился через сто лет в том роду Игнат. Кудрявый. Статный. Девки к нему липнут. А он — только усмехнётся. Которую поманит — та идёт. Которую бросит — та в омут. Потому что в глазах у него — Матрёна. Смотрит. Проверяет, крепко ли проклятье держится? Крепко. А любить — нечем. Матрёна запретила. Сто лет назад. От срама. Такими Матрёна их делает. С тех пор, как в колодец плюнула. Мужиков спаивал. На деньги разводил. Избы выжигал, коли зол был. А сам — ни слезинки. Ни жалости. Глянет — будто сквозь тебя. Глаза — как два озерца подо льдом. Холодно. Пусто.

Ходил Игнат, девок портил, людям гадости делал, а внутри — легко. Хорошо. Потому что — пусто. Матрёна постаралась. Выскребла. Не болит. Не жжёт. Не просит.

И вот как-то на ярмарку в город поехал. Зашёл в лавку ку-

печескую, богатую. А там — зеркало. Огромное. От пола до потолка. В раме серебряной. Скучно стало Игнату. Дай, думает, на себя, красавца, погляжу. Подошёл. Взглянул в него.

А там...

2025 год.

В наше время шепчут психотерапевты, есть люди: ходят, работают, постят фото с улыбкой, но мертвые внутри. Глаза у них, как экраны смартфона, светятся, а тепла нет. Смотришь и видишь там только свое отражение.

Таковыми не рождаются. И прокляла их не бабка Матрёна. Прокляла их мать. Мать их не любила. Не любила, потому что сама была зеркалом — холодным, пустым. Она не знала, как это — любить. И младенец, чтобы выжить, сделал страшное. Он заглянул в мать, а там ничего. И понял: хочешь выжить — будь удобным, будь таким, как ей надо.

Так они и научились играть. С пеленок. Научились угадывать настроение по хлопку двери. Научились быть лучшими, лишь бы мать посмотрела. Хоть на секунду. Хоть не сквозь.

Научились носить маски так ловко, что те приросли. Красивую маску, умную маску, маску «у меня всё идеально», а под маской — никого. Потому что живое в них умерло тогда же, навсегда.

Идеальный аккаунт, идеальное резюме — у всех до единого дыра в груди. Берут лайки, берут восхищение, берут чужую жизнь и пьют, как энергетики по утрам, не чувствуя вку-

са.

А когда человек рядом иссыхает, выгорает или уходит в депрессию, они удивляются искренне, по-детски:

— Чего он сломался? Я же ничего не делал. Я просто был собой.

А собой у них — это и есть игра, бесконечный спектакль для пустого зала.

Их проклятие — не видеть других вообще. Для них весь мир — это зал с кривыми зеркалами, где в каждом отражении только они. Поэтому чужая боль для них — как шум дождя за стеклом. Вроде есть, а вроде нет.

Но так шепчут психотерапевты.

А сама книга расскажет без шёпота бабков, без диагнозов. История одного нарцисса. Изнутри. Холодно. Честно. От первого лица. Мир его глазами. И там нет других людей. Есть только функции. Функция «мать». Функция «женщина». Функция «аплодисменты». Функция «зеркало».

Жизнь чудовища, которое не считает себя чудовищем. Оно считает себя богом. Или сиротой. Или никем. Зависит от того, кто сейчас смотрит.

Эта книга — не про то, как он стал. Эта книга — про то, как оно есть. Каждый день. Каждую минуту. Когда ты — дыра. И жрёшь. Ни разу — слово «любовь». Только «надо», «удобно», «работает», «сбой».

Глава 1. Идеальный Сын

Мама меня не любила. Нет. Мама меня не любит. Я это понял сейчас. Мне пять лет.

Слово «сейчас» — оно длинное. Тянется. Как жвачка, что прилипла к подошве. Я стою босиком на ледяном линолеуме в кухне. Июнь на улице, а пол всё равно ледяной. В руках рисунок из альбома. Лучший лист. На нём наш дом, огромное солнце с ресницами, и мы двое. Я и мама. У мамы волосы до пола, потому что она красивая. У меня улыбка до ушей, потому что я счастливый. Я старался.

Жёлтый карандаш сломался на середине солнца. Я не заплакал. Я нашёл изоленту в ящике. Аккуратно замотал карандаш. Пальцы стали липкие. Но солнце вышло самое яркое. Для неё. Всё для неё.

Протягиваю. Рука дрожит. Лист чуть прогибается. Улыбаюсь. Во рту пересохло, язык шершавый, а в груди колотится птица. Большая, бешеная. Тук-тук-тук. Сейчас она посмотрит. Сейчас скажет: «Какой ты молодец, Лёшенька». И погладит по голове. У неё рука прохладная, от неё пахнет кремом «Балет». Один раз она так сделала, когда я сам завязал шнурки. Один раз за пять лет. Я помню.

Она не смотрит на меня. Она смотрит на рисунок. Одну секунду. Может, две. Для меня это вечность.

— Криво, — говорит она. Голос ровный, как нож по стек-

лу. — Дом заваливается. Переделай.

И отворачивается к плите. Там шипит сковородка. Лук. Воняет на всю кухню.

Слово «криво» не летит. Оно падает. Прямо в меня. Тяжёлое, чугунное. Как та сковородка. Бульк. Пробивает грудь, желудок, падает куда-то в живот и там остаётся. Лежит. Холодное.

Я смотрю на свой дом. Он правда кривой. Правая стена уехала. Крыша сползла. Я кривой. Весь.

Солнце тоже кривое. Один луч толще других. И мы на рисунке — уродливые палки с точками вместо глаз.

Стыд. Он горячий. Обжигает уши, щёки, шею. Стыд за то, что я такой. Что не смог «ровно». Что принёс ей эту грязь. Она любит чисто. Любит «ровно». Любит правильно.

Я не плачу. Плакать нельзя. Это я выучил в три. Когда упал с горки и разбил коленку. Прибежал к ней, ревел, показывал кровь. Она посмотрела и сказала: «Сам виноват. Не ной. Мужчины не плачут». И ушла. Я сидел на полу в коридоре и учился глотать слезы. Чтобы не быть виноватым. Чтобы быть мужчиной.

От слёз лицо красное, опухшее, некрасивое. Некрасивых не любят. Некрасивых выбрасывают. Как фантик. Это правило. Главное правило.

Я киваю. Молча. Горло сжало. Если открою рот — оттуда вырвется вой. А вой — это тоже «криво». Разворачиваюсь. Иду в комнату. Ступни к полу прилипают. Пол холодный.

Сажусь за стол. Кладу перед собой «кривой» рисунок. Рядом — новый лист. Белый. Идеальный. Пугающий. Беру линейку. Деревянную, с зазубриной.

Прижимаю линейку к бумаге. Так сильно, что белеют пальцы. Черчу стену. Веду карандаш. Медленно. Чтобы ни на миллиметр. Дыхание задержал. Если дышать — рука дрогнет. Если рука дрогнет — я опять «кривой». Если я «кривой» — меня не будет.

Чтобы дом был ровный. Чтобы солнце было по циркулю. Чтобы мы на рисунке были красивые. Чтобы мама посмотрела. Хоть раз. Не на рисунок. На меня. Увидела меня. Сказала: «Вот. Теперь правильно. Теперь ты мой сын».

Но она не посмотрит. Я уже знаю. Это знание — оно старое. Старше меня. Оно было всегда.

Потому что, когда она смотрит на меня, у неё глаза как выключенный телевизор. Стекланные. Глубокие. Пустые. Там отражаются люстра, окно, моя макушка. А меня нет. Там вообще ничего нет. Ни злости, ни радости, ни любви. Ничего. Как будто я — воздух. Прозрачный. Ненужный.

Бабушка говорит, у неё характер. А я знаю. Она просто не умеет. У неё внутри тоже пусто. Она как тот телевизор. Красивый, а внутри — пыль и провода. И от этого страшно. Страшнее, чем от слова «криво». Потому что если в ней пусто, то откуда мне взять? Где взять любовь, если её не дают? Её же надо откуда-то налить. А налить некому.

Я черчу вторую стену. Рука затекла. На бумаге остаётся

влажное пятно от ладони. Грязь. Опять грязь. Опять я всё испортил. Сминаю лист. Звук громкий. Хочется разорвать. На мелкие клочки. И себя тоже. На клочки. Чтобы не было этого кривого, неправильного мальчика.

В пять лет я понял две вещи. Они врезались в меня, как гвозди. Навсегда. Первая: любовь — это оценка. Пятёрка. Грамота. Её надо заслужить. Быть лучшим. Быть первым. Быть ровным.

Вторая: меня настоящего — любить не за что. Меня настоящего, с кривым домом и сломанным жёлтым карандашом, — не существует. Я брак. Ошибка.

Поэтому я его убью. Прямо сейчас. Здесь, за этим столом. Я убью этого мальчика, который хочет, чтобы его просто обняли. Просто так. Ни за что. Он слабый. Он ноет. Он «кривой». Он мешает. Я закопаю его под этим линолеумом. Глубоко. Чтобы никто не нашёл. Даже я.

И стану другим. Я слеплю себя заново. Как из пластилина. Ровным. Идеальным. Удобным.

Таким, на которого посмотрят. Таким, которого погладят по голове. Таким, которого не выкинут.

Я буду смотреть на маму и угадывать. Чего она хочет? Каким мне быть? Сегодня она любит тихих. Я буду тише воды. Завтра ей понравятся отличники. Я принесу все пятёрки в мире. Она захочет, чтобы я не мешал. Я научусь не дышать.

Я стану её зеркалом. Гладким. Чистым. Идеальным. Она посмотрит в меня — и увидит себя. Красивую. Правильную.

И, может быть, улыбнётся. А я буду питаться этой улыбкой. Мне хватит. Надолго.

Достаю новый лист. Третий. Руки уже не дрожат. В груди тихо. Птица сдохла. Вместо неё — холод. Расчётливый, спокойный холод. Прикладываю линейку. Начинаю чертить свой новый дом. Идеальный. Свою новую жизнь.

Мальчик Лёша умер в пять лет.

Родился Алексей.

И он никогда, слышите, никогда больше не будет «криво». Мне шесть. Я иду в первый класс. Ранец новый. Внутри — тетради. В тетрадях поля, по линейке. Отступ — четыре клетки. Не три, не пять. Четыре.

Мама смотрит, молчит, но я вижу её. В её глазах-телевизорах на секунду появляется что-то. Не любовь, нет. Одобрение.

Этого достаточно. На этом я проживу неделю.

В школе я быстро понимаю правила. Учительница любит тех, кто тянет руку, у кого нет помарок. Я становлюсь тихим. Тяну руку. У меня нет помарок. Я любимчик Марьи Петровны. Она ставит меня в пример. Говорит:

— Вот, дети, берите пример с Алексея.

Дети не берут. Они меня ненавидят. Сначала я не понимаю почему. Я же правильный. Я же ровный. Потом доходит. Моя ровность для них — как зеркало, в котором они видят свою кривизну. А кривым быть больно. Саша из первого «Б» говорит мне в раздевалке:

— Подлиза.

Слово новое. Неприятное. Я не бью его. За это ругают. Мама скажет: «Что люди подумают?». Я делаю другое.

Жду.

Через неделю у Саши пропадает сменка. А я случайно захожу её в мусорном баке за школой. Приношу Марье Петровне. Она хвалит меня перед всем классом. А Сашу ругают. Он плачет. А я стою и чувствую внутри тепло. Не в груди. Ниже. В животе. Это власть. Она вкуснее мамино одобрения. Она гуще.

Я понял. Быть идеальным мало. Надо, чтобы другие на моём фоне были «кривыми». Тогда моя ровность сияет ярче.

Мне восемь. Мама отдаёт меня на плавание. Она сказала: — Для здоровья и для фигуры.

Перевожу. «Чтобы ты был красивым. Красивых любят больше». Хлорка выедает глаза. Вода ледяная по утрам. Тренер орёт так, что уши закладывает.

— Давай, телёнок, работай!

Я ненавижу воду. Ненавижу вставать в шесть утра. Ненавижу запах хлорки и мокрых полотенец. Но я плыву. Потому что после соревнований мама впервые меня обняла. Я занял третье место. Обняла на три секунды. Её руки были холодные. И сказала:

— Можешь же, когда хочешь.

Три секунды. Ради трёх секунд я готов плавать каждый день. Я тренируюсь больше всех. Улыбаюсь тренеру. Я - иде-

альный спортсмен.

В десять лет у меня первые золотые медали. Мама вешает их на стену в гостиной. Гостям показывает.

— Это всё мой сын.

Мой.

Не Алёша.

Сын.

Функция.

Достижение.

И вот тут что-то меняется. Сначала это как соринка в глазу. Мешает, но терпишь. Я смотрю на неё, когда она хвастается мной перед тёткой Людой. Смотрю, как у неё загораются глаза. Не на меня. На реакцию тётки. На её зависть. И понимаю.

Я для неё как та медаль.

Как ремонт в кухне.

Статусный предмет.

Доказательство, что она хорошая мать.

А я?

А меня нет.

Лёши нет.

Есть сын, спортсмен, круглый отличник.

А Лёша, тот, с кривым рисунком.

Он так и сидит там, закопанный.

И любовь превращается в ненависть.

Медленно.

По капле.

Ненависть — это не когда орёшь. Это когда смотришь на человека и понимаешь. Ты для него вещь. Нужная. Но вещь. Ты ненавидишь молоток не за то, что он бьёт. Ты ненавидишь его за то, что он не может не бить. Я начинаю её изучать, как противник изучает врага. Что её радует? Мои пятёрки. Мои медали. Когда соседка говорит:

— Какой у вас хороший сын.

Что её бесит? Когда я болею. Больные бесполезны.

Я становлюсь безупречным. Не для неё. Для себя. Потому что каждая моя победа — это мой козырь. Моя защита. Мой поводок, на котором я держу её. Пусть смотрит. Радует. Зависит от моего «идеально». Я даю ей то, что она хочет. Но ровно столько, сколько решаю я. Я и только я решаю, когда и сколько.

Мне двенадцать. Появляются друзья. Пацаны со двора. Они глупые и верят всему. Я не дружу с ними. Я их коллекционирую. Димка сильный. Он будет меня защищать, если что. Надо только иногда давать ему списывать. Серёга смешной. Когда он рядом, я на его фоне кажусь умнее и спокойнее. Я учусь говорить им то, что они хотят услышать.

Димке:

— Ты самый сильный в школе.

Он раздувается, как индюк, и готов за меня в огонь и воду.

Серёге:

— Без твоих шуток скучно.

Он гогочет и таскается за мной хвостом.

Это легко.

Люди как автоматы. Кинул нужную монетку — получил нужную реакцию. Мама видит меня с пацанами из окна. И снова это рябь в телевизорах. У сына друга. Значит, он нормальный. Значит, я хорошая мать. Она не знает, что никого из них я не пушу в свою комнату. Там мои медали. Мои грамоты. Мой алтарь.

Чужие пачкают. Чужие «кривые». Вечером я мою руки. Долго. С мылом. Потому что после людей остаётся ощущение грязи. Липко.

Смотрю в зеркало в ванной. Учусь улыбаться. Не так. Уголки губ выше. Глаза должны щуриться. Вот так.

Идеальный сын - должен уметь идеально улыбаться.

Мальчик Лёша под полом скребётся. Иногда просит, чтобы его выпустили. Чтобы его пожалели. Я наступаю на то место ногой. Сильнее. Тихо. Не ной. Мужчины не плачут. «Кривые» не живут. А я буду жить. Лучше всех.

Особенно лучше тебя, Мама.

Глава 2. Лучший друг

Мне четырнадцать. У меня есть лучший друг. Нет. У меня есть «лучший друг». Это должность. Как староста класса или капитан команды. Функция. Денис перевёлся в седьмом классе. Толстый. В очках, заикается, когда волнуется. Идеальный кандидат. Все его дразнят. Я подошёл первым и сказал:

— Привет. Ты разбираешься в технике. Поможешь?

Он не разобрался, но ради меня научился. Потому что я посмотрел на него и сказал:

— Ты умный. Просто другие этого не видят.

Это был мой первый крючок. Самый простой. Самый дешёвый. Дать человеку то, чего у него никогда не было. Признание. Он заглотил его вместе с леской, грузилом и поплавком. Два года я его кормил. Называл его «мозг». Он тащился. Я брал его всегда с собой. Говорил:

— Без Дэна я никуда.

И он светился. Я защищал его. И когда у него хотели отобрать часы, я спокойно сказал:

— Тронете его — пожалеете.

И улыбнулся той самой отработанной улыбкой. Они не тронули. Потому что я — Алексей. Дэн потом смотрел на меня как на бога. А я что? Я просто вложился, чтобы потом получить проценты. Потому что Дэн — источник тепла но-

мер два.

Мать — номер один. Но её тепло как у батареи зимой. Вроде греет. А подойти близко — обожжёшься. И оно по расписанию. Только за пятёрки, только за медали.

А Дэн — он как ручная печка. Всегда тёплый. Всегда рядом. Ему можно рассказывать всё. Ну, не всё. Отфильтрованную версию, где я герой, страдалец, непризнанный гений. Он слушает. Кивает. Возмущается:

— Да как они могли так с тобой?

И мне хорошо. Внутри. Там, где холод, становится на градус теплее. Я его посадил. И сам подсел. Мы идеальная система. Он мой донор.

Проблема пришла весной. В девятом классе. В школе появилась девочка Алина. Волосы ярко красные. Глаза как у кошки. Наглая. Все пацаны на неё запали. А она посмотрела на меня. Не только потому, что я красивый. Плавание сделало своё дело. Плечи, пресс. Девчонки липнут. Она посмотрела, потому что я другой. Я не бегал за ней, как эти щенки. Я был вежливо-равнодушен.

Это моя вторая маска «Загадочный». Работает безотказно. Она сама подошла. Спросила:

— Рисовать умеешь?

Я не умел. Но сказал:

— Попробую.

Чтобы быть с ней, надо было стать интересным. Не для неё. Для себя. В её глазах. И тут Дэн стал мешать. Он не

понимал. Звонил по вечерам, как обычно. Ныть про свою жизнь. Про маму, которая пьёт. Про одноклассников.

А я слушал Алину. Она рассказывала про Шагала. Про то, что резала себе руки в тринадцать. И её боль была красивая. Стильная. Как шрамы. Боль Дэна была липкая. Вонючая. Как перегар от его матери. Меня начало тошнить. От его голоса. От его проблем. От его вечного:

— Лёха, помоги.

— Лёха, послушай.

Источник тепла номер два дал сбой. Он начал требовать обслуживания. Начал не давать, а жрать мою энергию. Это бесило. Это как если бы твоя любимая печка вдруг начала коптить и гадить тебе в лицо. Я начал его сливать. Аккуратно. Сначала забыл позвать гулять. Потом перестал отвечать на звонки. Он чувствовал. Не дебил же. Умный. Я сам его таким сделал. Он пришёл ко мне после школы. Встал в дверях. Мялся. Очки сползли на нос.

— Лёх, ты чего? Я тебя обидел?

Жалкий. Во мне ничего не дрогнуло. Абсолютно. Я смотрел на него и видел не человека. Я видел сломанный прибор. Старый телевизор, который перестал ловить каналы. Его надо выкинуть и купить новый. Но выкидывать надо красиво. Чтобы мусор не вонял. Чтобы никто не сказал:

— Лёха плохой друг.

Идеальные не бывают плохими. Идеальные бывают жертвами. Я вздохнул тяжело. Отработанно. Посмотрел в окно.

— Дэн...Просто ты не понимаешь. У меня сейчас сложный период. Алина...Она такая...Она меня понимает. А ты... Ты давишь.

Это был контрольный в голову. Обвинить жертву. Классика. Его лицо перекосило. Он понял. Не слова. Интонацию. Он понял, что его сливали.

— Я... я давил? Лёх, я же для тебя... Я же всегда...

— Вот именно, — перебил я его холодно. — Всегда. Мне иногда нужно личное пространство. Но ты этого не понимаешь.

Я сделал паузу. Дал ему время утонуть в чувстве вины. А потом добавил ласково. Как мама в детстве.

— Ты хороший друг, Дэн. Правда. Лучший. Просто... Нам надо отдохнуть друг от друга.

«Отдохнуть» — какое хорошее слово. Не «пошел вон», а «отдохнуть».

Он кивнул, молча развернулся и ушел.

Я закрыл дверь, прислушался. На лестнице было тихо. Я выдохнул, в квартире стало чисто, просторно, как будто вынесли старый вонючий диван.

Подошел к зеркалу, посмотрел на себя.

— Ничего.

Ни жалости, ни грусти, ни вины. Только легкость и скука.

Скука — это сигнал. Значит, доза закончилось, организм требует новую.

Дэн перестал ходить в школу. Серега, тот самый смешной,

подошел ко мне на перемене, спросил:

— Лех, вы что, с Дэном поссорились? Он совсем скис.

Я сделал идеальное лицо: озабоченное, чуть-чуть грустное.

— Да сам не понимаю, Серый. Он закрылся, я пытался поговорить, но он не хочет.

Серый поверил, все поверили, потому что я Алексей. Я не бросаю друзей, это друзья меня бросают. Они слабаки, не выдерживают моей глубины, моей исключительности.

Я — жертва. Опять. И мне это нравится.

Вечером мне позвонила Алина. Я улыбнулся своему отражению в черном экране телевизора. Дэн высушен, выжат, выкинут мной. А источник тепла номер три уже разогревается.

И она даже не догадывается, что ее ждет. Никто не догадывается, потому что я — лучший друг. Просто у меня батарейки садятся быстро, и мне всегда нужны новые.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.